

МАРИНА АРИАС-ВИХИЛЬ

Об истории создания термина «социалистический реализм» и подготовке Первого съезда советских писателей

Стенограмма беседы И. М. Гронского с сотрудниками Архива А. М. Горького, 30 ноября 1963 года*

Сегодняшнюю нашу беседу мы посвятим вопросу о подготовке Первого съезда советских писателей и участии в ней Алексея Максимовича Горького.

Я не буду приводить общеизвестные материалы, напечатанные в истории советской литературы, в различных журналах и газетах. Да и все вы копались в архивах и, надо полагать, знакомы со всеми основными материалами, относящимися к этому периоду жизни Горького. Я буду прибегать к ссылке на материалы только в самых необходимых случаях, а главным образом расскажу о тех событиях, участником которых мне довелось быть.

Постановление ЦК партии о перестройке литературно-художественных организаций, принятое 23 апреля 1932 года, было по сути дела подготовлено всем развитием Советского Союза, в том числе и художественной литературы.

До 1932 года мы имели в литературе довольно большое количество различных организаций; не все они были одинаковы по своему составу, не все были одинаковы по своим устремлениям и не все они одинаково относились к нашей партии и советской власти.

Это разнообразие творческих организаций, которые существовали во второй половине 1920-х годов, в какой-то мере отража-

* Впервые: *Ариас-Вихиль М. А.* Об истории создания термина «социалистический реализм» и подготовке Первого съезда советских писателей (стенограмма беседы И. М. Гронского с сотрудниками Архива А. М. Горького) // *Codex manuscriptus: Статьи и архивные публикации.* М., 2019. С. 74–93.

ет состояние Советского Союза. Ведь дело в том, что, совершив восстановление народного хозяйства (это, примерно, относится к 1927 году), мы не устранили деления общества на классы — в Советском Союзе существовали не только рабочие и крестьяне, но существовали и эксплуататорские классы как в городе, так и в деревне. И период между 1928 и 1932 годом — это период развернутого наступления социализма по всему фронту, период строительства социализма. Он, собственно говоря, характеризовался преодолением капитализма в экономике Советского Союза и в городе, и в деревне, это был период ликвидации эксплуататорских классов и в городе, и в деревне — в торговле и промышленности в городе и кулачества в деревне.

К 1932 году социализм одержал окончательную победу: эксплуататорские классы были ликвидированы, крестьянство, трудящееся, в основной массе вошло в колхозы, было коллективизировано. Таким образом, враждебных классов в Советском Союзе фактически уже не существовало.

К тому времени кончились колебания основной массы старой интеллигенции. Кстати сказать, интеллигенция за время революции прошла через несколько этапов развития. Первый этап — это почти всеобщий саботаж советской власти со стороны интеллигенции. Нас саботировала в 1917 [году] и в начале 1918 года почти вся интеллигенция. За редкими исключениями интеллигенция советской власти не признавала. В это время и писатели, в подавляющем большинстве старые писатели, были настроены к советской власти весьма отрицательно, в лучшем случае — скептически.

Затем наступил второй период, когда интеллигенция пошла работать с советской властью — одни принимали советскую власть как неизбежное — хочешь не хочешь, а надо работать, и работали даже добросовестно. Другие пошли работать с советской властью с камнем за пазухой и везде, где только было можно, вредили советской власти. Так что переход от саботажа, от непризнания советской власти к борьбе с советской властью, в другой, правда, форме, это был переход к вредительству.

Вредительство заняло довольно большой период в истории развития советского общества, и только в конце 20-х — начале 30-х годов, точнее, в самом начале 30-х годов, основная масса интеллигенции повернула в сторону советской власти.

Я здесь сошлюсь на один пример из моей практики.

Мы столкнулись в конце 20-х — начале 30-х годов с одним очень любопытным явлением: вредителей, как правило, было немного. Скажем, на заводе 100 человек инженеров, а вредителей всего пять человек. А раскрыть их мы не можем. В чем же дело?

По предложению ЦК, я занимался исследованием этого вопроса. Очень много материалов пришлось изучать, и вот я пришел к такому выводу: вредительство на наших предприятиях, в сельском хозяйстве, на транспорте по сути дела становится возможным благодаря нейтрализму интеллигенции. На главах у всех подвизаются вредители, а окружающие их люди молчат — они считают неудачным, неэтичным доносить на своих товарищей по ремеслу, они сами не принимают участия во вредительстве, но и не разоблачают вредительство — занимают нейтральную позицию.

Когда результаты этих исследований я изложил в передовой статье «Известий» (статья так и была названа — «О нейтрализме»), статья эта наделала много шума. ЦК ее поддержал, правительство поддержало, и это позволило нам поставить вопрос о ликвидации нейтрализма в среде интеллигенции. Пришлось именно сюда перекосить все внимание партии — на ту часть интеллигенции, которая поддерживала советскую власть, и нам сравнительно быстро удалось сломать нейтрализм интеллигенции, и тогда вредительство было сразу разоблачено, и уже не составило большого труда для нас сломать вредительство.

Это было, примерно, в 1931 году.

Нечто подобное наблюдалось и в среде художественной интеллигенции: под разными предложениями, под разными флагами писатели стремились занять нейтральную позицию, они не оглашали своего отношения к советской власти. Тут были разные писатели — и крупные писатели, и писатели не особенно видные. Их было довольно много. Я укажу только на некоторых из них.

Скажем, такой поэт большого мастерства, как Н[иколай] А[лексеевич] Клюев. Он явно занимал антисоветскую позицию. Он вел работу в среде художественной интеллигенции, особенно среди молодых поэтов, разлагал их самым настоящим образом. Клюев дошел до того, что пошел на паперть церкви, которую посещали иностранцы, и стал на паперти с протянутой рукой: помогите поэту Клюеву.

Когда я об этом узнал, я вызвал Клюева к себе и предложил ему работать с советской властью. Он согласился, поехал в деревню, прислал нам оттуда поэму, которую напечатать было нельзя. Ему давали паек, давали денег, однако перетянуть Клюева на позиции советской власти мы не смогли и должны были выслать его из Москвы.

Вот это один персонаж из художественной интеллигенции.

Другой человек, другого порядка, другого склада, это Сергеев-Ценский.

Как-то на даче у Горького в Горках Алексей Максимович обратился ко мне с предложением сломать Сергеева-Ценского. Вот, говорит, сидит в Крыму, в берлоге, не признает советской власти. Вызовите его, сломайте, Вы это умеете делать. Присутствовавшие при этой беседе Сталин,

Молотов и Ворошилов поддержали Горького. Условились, что Алексей Максимович вызовет Сергеева-Ценского и направит его ко мне.

И вот ко мне приходит мрачный Сергей Николаевич. Я говорю ему: «Другой власти, кроме советской, не существует, с этой властью надо работать». Он говорит: «Я не привык врать в литературе». Я говорю: «Кто от вас требует вранья? Давайте условимся: поезжайте куда хотите, в любой город или деревню, и то, что Вы напишете, я напечатаю, не читая». Сергеев-Ценский поехал в Харьков, написал несколько вещей, я сдал их в набор, не читая. Он говорит: «Не прочитаете?» Я говорю: «Зачем я буду читать? Вы ведь правду написали!»

Выступая на собрании писателей (я на этом собрании не был), Сергеев-Ценский описал этот эпизод, говорил, что он сидел в Крыму, не признавал советской власти, а Гронский бросил его в жизнь. «И я ему земно кланяюсь», — сказал он.

Третий персонаж — В[орис] Л[еонович] Пастернак. Крупный мастер поэзии, правда, декадент. Он был далек от политики, занимал нейтральную позицию, как и другой поэт — Мандельштам, тоже очень крупный мастер.

Я пошел на такой маневр: в числе писателей, посланных тогда на строительство Магнитки, включил и Пастернака. И он довольно долго прожил на строительстве Магнитогорского комбината, и это столкновение поэта с народом повлияло на Бориса Леонидовича, и он восторженно говорил о подвигах рабочих-строителей Магнитки.

Я мог бы привести еще множество примеров и враждебного отношения писателей к советской власти, и нейтрального, и какого хотите. Так что видите, тогда в литературе не было единодушия, не было такого положения, когда все единодушно высказывались бы за политику партии, за советскую власть и т[ак] д[алее].

В литературе, как и в нашей промышленности, шла борьба, и поворот всей массы интеллигенции в сторону советской власти захватил и художественную интеллигенцию. Андрей Белый, Пришвин, Сергеев-Ценский, Клычков, Пастернак, Мандельштам и многие, многие другие все чаще и все определеннее стали выражать свое положительное отношение к советской власти.

Следовательно, обстановка в стране резко изменилась: позиция интеллигенции, настроение интеллигенции, отношение интеллигенции к советской власти изменились, изменилось и отношение к советской власти писателей.

Ошибка рапповцев на этом этапе развития — в 1931–1932 годах — заключалась в том, что они не учли этих сдвигов в обществе, не учли поворота интеллигенции в сторону советской власти. Они задержались на старых позициях, и они тормозили развитие положительного процесса, который наметился в нашем обществе.

ЦК пытался повернуть рапповцев лицом к поворачивающейся к советской власти интеллигенции, но ничего не вышло — пришлось принять решение о перестройке литературно-художественных организаций.

Это решение появилось не сразу, оно медленно подготавливалось, созревало постепенно, причем Горький неоднократно говорил о желательности объединения всех творческих писательских организаций.

Я помню беседы с Алексеем Максимовичем в 28-м, 29-м, 31-м годах. Он говорил, что было бы хорошо все писательские организации объединить, что это объединение дало бы возможность расширить влияние коммунистов и советски настроенных литераторов на всю писательскую массу.

Но тогда это провести было нельзя — обстановка не созрела для такого решения. Условия для объединения литературных организаций создались только в результате выполнения первой пятилетки и победы социализма в нашей стране.

После опубликования постановления ЦК о перестройке литературно-художественных организаций руководство РАППа заняло позицию, я бы сказал, борьбы против этого решения ЦК. Рапповцы пытались добиться пересмотра этого решения ЦК, если хотите, ревизии постановления ЦК.

После постановления все писательские организации приняли решение: написать обращение ко всем писателям Советского Союза, в котором они приветствовали решение ЦК о ликвидации РАППа и создании Оргкомитета писателей. Все организации, включая «Перевал», подписали это обращение. Единственная организация, отказавшаяся подписать его, это была рапповская организация. Она не только отказалась подписать обращение писательских организаций ко всей массе писателей Советского Союза, но руководство РАППа подало заявление в ЦК, в котором оно выражало свое недовольство и несогласие с решением ЦК.

Поскольку проведение в жизнь постановления ЦК задержалось, Политбюро создало комиссию для рассмотрения заявления РАППа. В комиссию входили: Сталин, Каганович, Стецкий, Постышев и я. При этом было сказано, что если в комиссии не будет разногласий, то считать решение комиссии решением ЦК.

В тот же день позвонил мне Сталин и просил зайти к нему. Я зашел к Сталину, он сидел и читал заявление рапповцев. Он спросил, как я отношусь к этому заявлению. Я прямо ответил, что отношусь отрицательно, что в этом заявлении я усматриваю стремление рапповцев обривизовать решение ЦК. Поэтому претензию рапповцев надо категорически отклонить.

На это Сталин сказал, что организационные вопросы Центральным Комитетом решены, пересматривать их мы не будем. А вот что надо решить, так это творческие вопросы, в частности, вопрос о творческом методе.

И Сталин, и я — мы оба согласились с тем, что творческий метод РАППа неприемлем, что нельзя переносить механически метод философии на литературу и искусство. Но если мы снимем творческий метод рапповцев, то что мы дадим?

Тут была очень длительная беседа. Я не передаю сейчас содержание этой беседы, оно изложено в моем письме к Л. И. Тимофееву, я передам это письмо в архив, и вы можете его прочитать. Но итог этой беседы, свое высказывание я заключил следующим: рапповский диалектический творческий метод не выражает существа советской литературы, писатели его не понимают, я предложил бы творческий метод, сформулированный так: пролетарский социалистический, а еще лучше коммунистический реализм. В этом определении мы подчеркнем два момента: классовую природу советской литературы и укажем литературе цель — борьбу.

Сталин слушал меня внимательно. Когда я кончил, он спросил: кто разрабатывал рабочую тематику до революции?

Беседа приняла непринужденную форму. Сталин мне говорил об отдельных произведениях... «Вы правильно указали, — говорил он — на классовый характер советской литературы и правильно включили указание на цели нашего движения. Но вот у меня возникает сомнение: стоит ли подчеркивать пролетарский характер нашего [художественного метода] ... (читает)

Надо ли это особо оговаривать? Я думаю, нужды в этом нет. Указание на цель движения: коммунизм — тоже правильно, но сейчас мы не ставим вопрос о переходе от социализма к коммунизму. Эта задача встанет перед партией как практическая задача, но произойдет это нескоро. Указывая на коммунизм как на практическую цель, Вы забегаете вперед. Как Вы отнесетесь к тому, если мы творческий метод литературы и искусства назовем социалистический реализм? Достоинства этого определения: краткость, понятность и указание на преемственность советской литературы[»] (читает).

Я не настаивал на своей формулировке, ибо формулировка Сталина казалась мне более удачной.

Этот разговор продолжался больше двух часов. Я заметил: ребенок родился давно, а имя ему даем только сейчас.

Сталин предложил мне выступить на комиссии с заявлением о творческом методе РАППа, заявить, что партия не поддерживает этот метод, считает его ошибочным и предлагает метод социалисти-

ческого реализма. Я сказал, что будет авторитетнее, если на Комиссии выступит Сталин.

После разговора со мной Сталин беседовал с Постышевым, со Стецким.

Руководители РАППа ставили два вопроса: о существовании в едином союзе писателей самостоятельной секции рапповцев и об утверждении диалектического творческого метода как единого творческого метода.

От Комиссии Сталин выступал 10–15 раз, я — 4 раза, Стецкий — 2 раза, Каганович молчал.

По первому вопросу рапповцы уступили довольно быстро, по вопросу о творческом методе они спорили довольно долго, но в конце концов удалось убедить рапповцев: они признали свой творческий метод ошибочным и приняли предложение комиссии, то есть приняли творческий метод: социалистический реализм.

Это было примерно 11 мая.

После заседания комиссии я информировал о своей беседе со Сталиным и о заседании комиссии своих товарищей по Оргкомитету, затем — руководящих редакционных работников «Правды», «Известий» и «Литературной газеты».

Затем — 20 мая 1932 года, то есть через 9–10 дней после заседания комиссии Политбюро, мне пришлось участвовать в заседании актива литературных кружков. Я свое выступление посвятил методу советской литературы. Вот что я говорил: (цитирует, записано приблизительно) «До последнего времени писали очень много деклараций, много разговаривали о методе, было очень много группочек и... Вопрос о методе надо ставить не абстрактно... Основное требование, которое мы предъявляем писателям: пишите правду, правдиво отображайте нашу действительность. Поэтому основным методом советской литературы является метод социалистического реализма» («Литературная газета», 23 мая 1932 г[ода]).

Это было первое упоминание о методе социалистического реализма в советской печати. Во всей моей речи (этот отчет моей речи завизирован мною) нет ни одной ссылки на Сталина, нет даже упоминания его имени. Это подтверждает, что формулировка «метод социалистического реализма» не принадлежит Сталину — она создавалась коллективно партией, и приписывать авторство кому-либо было бы ошибкой.

К сожалению, потом стали приписывать создание метода социалистического реализма Сталину, причем относили первое выступление по этому вопросу на совещании у Горького к 26 октября.

Как видите, впервые в печати это упоминается 20 мая, а в газете 23 мая. Затем об этом сказано в передовой статье «Литературной га-

зеты» от 29 мая, а что касается 26 октября, то о социалистическом реализме тогда и речи не было.

Откуда же, собственно, возникла ошибка? Почему именно Сталину приписывалась формулировка: метод социалистического реализма, и почему относили эту формулировку к его выступлению 26 октября?

Дело в том, что о заседаниях — точнее, о совещаниях — руководителей партии и правительства с деятелями литературы, проходивших у Горького на квартире, написал воспоминания Зелинский. Я эти воспоминания читал. Зелинский свел три-четыре таких совещания в одно и приписал все Сталину. Я ему указывал на этот недостаток его воспоминаний. Я говорю: «Почему Вы указываете 26 октября?» Он говорит: «Я свел в одно все совещания, отсюда и возникло ошибочное толкование или, вернее говоря, датирование формулировки: метод социалистического реализма».

Вы знаете эти воспоминания Зелинского — мне не надо их приводить. Романовский в своей статье в книге «О политике партии в литературе и искусстве» говорит, что был такой разговор о методе социалистического реализма 26 октября.

Сейчас, очевидно, придется пересмотреть и датирование, и авторство, и все прочее.

Скажу только одно, что, собственно говоря, и литература социалистического реализма, и метод социалистического реализма в литературе сложились задолго до революции в художественных произведениях Горького, и если кому-нибудь и приписывать метод социалистического реализма, то только Горькому. Это будет справедливо.

Я об этом и пишу в своем письме Л[еоиду] И[вановичу] Тимофееву. Теперь о совещаниях на квартире у Горького.

Их было четыре. Даты двух совещаний мы можем установить точно, даты двух других совещаний мне пока точно установить не удалось. Насколько я помню, первое совещание у Горького было во второй половине мая, на нем присутствовали от ЦК Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович и Стецкий. Писателей было немного, по-моему, только коммунисты: Гладков, Павленко, Фадеев, Панфёров и кто-то еще.

На этом совещании речь шла о ликвидации групповщины. Надо было ломать групповщину, создать единую фракцию в едином Союзе писателей, установить правильные взаимоотношения между коммунистами и беспартийными писателями, не командовать беспартийными писателями, а терпеливо работать с ними, помогать им разобраться в сложной обстановке тех лет, помогать им перейти на позиции советской власти и повести их к партии.

Вот одна из важнейших задач, которая стояла тогда перед Оргкомитетом, и этой задаче и было посвящено это совещание у Горького. Выступил Сталин, коротко Алексей Максимович, Стецкий выступил, я выступил, из писателей выступало 2–3 человека. На этом совещании говорили не только о групповщине, но и о методе социалистического реализма. Это было во второй половине мая, причем говорилось в тех самых выражениях, в тех самых словах, которые употреблялись в беседе со Сталиным накануне комиссии и на комиссии.

Это было первое совещание, причем это было единственное совещание на квартире у Горького с писателями, на котором присутствовал Каганович — на всех последующих совещаниях Кагановича не было.

Второе совещание происходило в конце июня — начале июля. Там присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов. Писателей было больше, чем на первом совещании.

На этом совещании Сталин выступил два раза и впервые употребил выражение, вошедшее потом в обиход: «Писатели — инженеры человеческих душ». Это было на втором совещании на квартире у Горького.

Третье совещание состоялось 12 августа, присутствовали те же люди. Это было очень многолюдное совещание; от одного совещания к другому нарастало количество участников совещания: если на первом совещании писателей было человек 7–8, на втором — человек 10, то на третьем — человек 25 писателей, а на четвертом — человек 30, а может быть, даже и больше.

На этом собрании Сталин выступал дважды: один раз более пространно, другой раз — коротенько.

Он начал свое выступление словами: «Читали ли вы напечатанную в “Известиях” статью Рожкова “Нужна ли нам романтика?” [».] С этого вопроса, обращенного к писателям, Сталин начал свое выступление.

Статья Рожкова напечатана 12 августа, следовательно, совещание состоялось 12 августа. Статья Рожкова в «Известиях» существует, она направлена против рапповских критиков, в частности, против Фадеева, ставится вопрос: признавать или не признавать романтику.

Сталин так сформулировал: да, нам романтика нужна, надо дополнить метод социалистического реализма другим методом, вспомогательным, который войдет в метод социалистического реализма, это метод революционного или красного романтизма. Почему нужен нам романтизм? Без взгляда в будущее, без перспективы работать нельзя. Тут он ссылался на Ленина, на то, что Ленин говорил о Писареве.

Вот это выступление Сталина кладет как бы конец спорам и разговорам о романтизме, приемлем романтизм или нет. После этого выступления Сталина споры о романтизме фактически прекратились. Писатели единодушно выступали за принятие романтизма. Некоторые говорили, что это второй метод советской литературы, существующий наряду с социалистическим реализмом, другие включали революционный романтизм в метод социалистического реализма, третьи считали, что это вспомогательный метод и т[ак] д[алее].

После этого совещания у Горького я несколько раз беседовал на эту тему со Сталиным, не только с ним одним — в этих разговорах принимали участие Молотов, Стецкий, Постышев — и установилось такое мнение, что революционный романтизм, социалистический романтизм входит в метод социалистического реализма, точнее говоря, социалистический реализм включает революционный романтизм, который как бы расширяет границы метода социалистического реализма.

На этом совещании у Горького был и другой вопрос — там встал вопрос о быте писателей.

Когда кончилось заседание, накрыли стол, беседа шла непринужденно, появилось вино и все, что бывает в таких случаях. Сталин подходил то к одному писателю, то к другому. Он подошел к Леонову и спрашивает, как живете, как работаете, не нуждаетесь ли в чем-либо? Леонов ответил, что все как будто хорошо обстоит — и работать легко, и отношение к писателям нормальное, никто не дергает, не теребит, по голове не бьют, не командуют, но плохо то, что писатели живут плохо в отношении жилищных условий.

Сталин обращается ко мне: не можем ли мы дать писателям приличные квартиры и дачи? Я на это ответил, что Леонов прав, жилищная нужда очень большая, но удовлетворить в этом отношении писателей мы не можем. В текущем году получили 6 квартир и не могли получить ни одной дачи, дали квартиры Малышкину, Шагинян и кому-то еще.

Сталин: надо построить дома и дачи, хорошо бы целый поселок. Вы над этим не думали?

Я сказал, что не думал, но поставить этот вопрос — поставлю, не откладывая в долгий ящик.

Сталин: Напрасно Вы рассчитываете на москвичей, у них и так хлопот много. Вы сами займитесь этим делом. Этим делом должен заняться Оргкомитет — построить писателям дома и дачи. Это моя личная просьба.

Я передал этот разговор Горькому. Алексей Максимович на это реагировал, говорил, что квартиры и дачи нужны, и высказал пожелание о строительстве домов отдыха, даже в разных местах их строить.

Сталин в конце 1933 года вернулся к этому вопросу. Я зашел к нему по другому вопросу, а он спросил: «Мы договорились осенью о строительстве домов. Что сделано?»

Я сказал, что Оргкомитет ведет подготовку к строительству домов в Лаврушинском переулке и в Переделкине. Сталин одобрил эти планы и рекомендовал не жалеть денег, чтобы людям было хорошо и приятно жить.

Кроме вопроса о жилищах, мне было передано 600 академических пайков для поддержания писателей, ученых и художников и некоторое количество денег. Сталин все время тормозил меня, чтобы я денег не жалел. Я послал 10 т[ысяч] р[ублей] Васнецову, 10 т[ысяч] р[ублей] Бак..., Мешкову и многим другим художникам, поддерживал писателей деньгами и академическими пайками, которые тогда были лучшими пайками в Москве.

Наконец, четвертое совещание. Оно представляет довольно большой интерес тем, что на этом совещании 26 октября пришлось резко столкнуться с Горьким, оно — это совещание — продемонстрировало вспышку групповщины.

Мы обычно сидели так: я справа от Горького, напротив — Сталин, по бокам — Молотов и Ворошилов. А здесь так получилось, что Горький сел в конце стола, вокруг рапповцы, напротив сели Сталин и Ворошилов, мы с Молотовым сели на другом конце стола.

На этом совещании было большое количество рапповцев: Афиногенов, Киршон, Фадеев и т[ак] д[алее].

На этих совещаниях никто не выступал по бумажкам, обычно был просто разговор, и никаких бумажек на руках не было. А тут Алексей Максимович извлек написанную заранее речь, читал по написанному. Это — единственный случай, когда на совещании с писателями он заранее написанную речь читал.

Перед рапповцами лежали вот такие папки материалов.

Я сразу почувствовал, что предстоит драка, и говорю сидевшему рядом Молотову: «Посмотрите, рапповцы приготовились к драке». Он улыбнулся. Я не хотел связывать ЦК ничем, поэтому разговор не продолжал.

Горький выступил с резкой критикой Оргкомитета. Он упрекал Оргкомитет в том, что он не занимается литературными кружками, что литературные кружки разваливаются по вине Оргкомитета, а все будущее литературы кроется в литературных кружках.

Выступление было резким и по содержанию, и по форме. Личных выпадов не было.

Я понял, что Горького накрутили рапповцы, что он попал в плен к рапповцам, что если сейчас тут же не дать отпор Горькому, то рапповцы поднимут головы и пойдут в атаку.

Несмотря на исключительно хорошие отношения, которые были у меня с Горьким, несмотря на всю любовь мою к Алексею Максимовичу, я сразу взял слово и очень резко критиковал его выступление.

Горький расплакался и заявил, что он уйдет с совещания.

Я на эту реплику Горького отвечал репликой, что уход с совещания — это не аргумент, это не доказательство его правоты, а, наоборот, доказательство его неправоты. Я употребил более резкое выражение: умеете слушать.

Обстановка была весьма напряженной. После выступления моего выступает Фадеев — он поддержал Оргкомитет. Горький берет слово и грубо, резко обрушивается на Фадеева. Фадеев отвечает репликами, сдержанно. Затем выступает... Горький, предлагает ввести в Оргкомитет рапповцев.

Берет слово Сталин. Он начинает словами: «Здесь нет надобности защищать политику Оргкомитета — она правильна, ее великолепно здесь обосновали, и нет нужды распространяться на эту тему. Остается предложение Горького о включении в Оргкомитет рапповцев[»].

Сталин обращается ко мне: «Как Вы к этому относитесь?» Я говорю: «Я против».

— Может быть, Вы подумаете и согласитесь?

— Нет, я против, я не согласен с предложением Горького.

Сталин говорит: «Вот какое создается положение! Горький предлагает ввести в Оргкомитет рапповцев, а Гронский против».

Он обращается к Горькому: «Ставьте вопрос на голосование». Вопрос ставится на голосование. Все голосуют «за».

Кто против? Поднимается одна моя рука.

Рапповцы во время этой перепалки почти не выступали и папок своих не открывали. Они сообразили, что если так резко критикуют Горького, то что же будет с ними! Поэтому они предпочитали молчать. Горького они настропалили, натравили на Оргкомитет, а сами в момент драки спрягались в кусты.

В статье Романовского (он копался в архивах, причем очень неудачно копался: там были очень ценные документы, он их не сумел использовать в книге, может быть, ему помешали опубликовать их, я не знаю) проскальзывает одна очень любопытная деталь. Он пишет: (читает, записано приблизительно): «Теперь противники молодой советской литературы могли в устной форме проводить подрывную деятельность. Они сплетничали, и здесь особенно отличался Авербах. Ему удалось довольно прочно втереться в доверие к Горькому и восстановить его против ряда ведущих членов Оргкомитета. Давая ложные сведения о деятельности Оргкомитета, Авербах требовал, чтобы Горький согласился на отсрочку съезда писателей. Этого Авербах добился: дважды переносилась дата съезда[»] (читает).

В докладной записке на имя Сталина Стецкий писал: «Некоторые, особенно беспартийные, писатели сомневаются, будет ли съезд... Авербах прямо прилип к Горькому».

Это письмо Стецкого написал я.

Романовский продолжает уже от себя: «Под влиянием клеветнических доносов Авербаха на секретаря Оргкомитета Юдина Горький долго не принимал Юдина... Горький скоро понял, что вокруг него действует группа интриганов и склочников[»] (читает).

Вот вам отрывок групповщины. Вот октябрьское совещание у Горького! (здесь пропуск — Иван Михайлович просил не записывать).

Алексей Максимович действительно понял, что его вовлекли в очень нехорошую игру.

Я сразу после окончания совещания хотел уйти. Там была пирушка, но я решил сразу уйти. Когда я был около вешалки, вышел Горький и говорит: «Куда?» Я говорю: «Поеду в “Известия”» Горький говорит: «Я Вас не пущу». И мы с ним в обнимку вернулись и сели за стол. Так был ликвидирован этот конфликт.

Это было 26 октября.

Вскоре Горький уехал. Вскоре был созван пленум Оргкомитета, на котором вновь был поставлен вопрос о социалистическом реализме. В моем выступлении, в выступлении Кирпотина, в выступлении Фадеева этот метод получил широкую огласку.

На этом пленуме выступало довольно большое количество крупных старых писателей: Андрей Белый, Пришвин... и еще целый ряд писателей, которые приветствовали постановление ЦК о создании Оргкомитета и солидаризировались с политикой партии в области художественной литературы.

Вот это первая часть работы Оргкомитета по подготовке съезда писателей, работа довольно сложная, проходившая в сложной обстановке. Горький тогда уехал за границу, в Сорренто, пленум проходил без него, без него проходил и второй пленум в феврале, причем созвать этот пленум предложил я.

Докладчиком по вопросу о реализме я предложил Луначарского.

Сталин выступил против — предложил сделать доклад мне. Я сказал, что мне некогда готовиться к докладу, и вновь настаивал на утверждении Луначарского. Тогда Сталин поручил мне утвердить тезисы доклада Луначарского.

Мы с Луначарским несколько раз встречались, беседовали. Первый вариант тезисов доклада был явно неудовлетворительный. Очень деликатно я и Стецкий эти тезисы в беседе с Луначарским раскритиковали. Он и сам заявил, что тезисы составлены плохо, что их надо переработать. Он их переработал и сделал исключительно блестящий доклад на втором пленуме Оргкомитета.

На этом пленуме по вопросу о драматургии выступали рапповцы, выступали неудачно, в частности, Афиногенов.

Поправляя рапповцев, мне пришлось выступить. Эту речь я, как все выступления, послал Сталину. Тогда был такой порядок, что если в течение 24 часов со стороны Сталина не будет возражений, то речь сдается в печать.

Мне позвонил Стецкий из приемной Сталина и поздравил с блестящим докладом. Я сказал, что это не доклад, а выступление.

В «Правде» по этому поводу появилось пять статей, одна за другой. Там удалось поставить несколько очень важных вопросов, вопрос о воспитательной роли искусства и другие.

После этого пленума я написал Алексею Максимовичу письмо, в котором информировал его о пленуме. Вот что я ему писал (читает письмо).

Как видите, Горький, хотя и был далеко, все время ставился в известность о том, что делается, и принимал самое непосредственное участие в делах Оргкомитета.

Весной 1933 года я заболел: было очень сильное переутомление, на этой почве у меня развились всякого рода болезни, тут еще грипп подкосил. Меня уложили в больницу, потом отправили на юг. Я долгое время совершенно не работал.

Приехав с юга, я сразу подал заявление об отставке — просил освободить от работы в Оргкомитете и в «Известиях». Сталин ответил довольно любопытно: «Вы в Оргкомитете можете не работать, а в «Известиях» надо работать». И я пытался кое-как тянуть, потом свалился.

Подав второе и третье заявление об освобождении от работы. ЦК согласился. Горький просил порекомендовать кого-нибудь на должность секретаря Союза писателей.

Я рекомендовал Юдина. Это — философ по образованию, окончил Институт красной профессуры, работал в Культпропе ЦК, крепкий коммунист, теперь наш посол в Китае.

Горький предложил его кандидатуру в ЦК, и Центральный Комитет его утвердил. Так что практически работающим человеком в Оргкомитете был Юдин.

Но у Юдина отношения с Алексеем Максимовичем сложились плохие. Я не берусь судить, что было причиной этих плохих отношений.

Я встречался с Горьким несколько раз, он предлагал мне вернуться в Оргкомитет. Я говорю: «Что же я буду балластом!» Горький очень резко отзывался о Юдине. Мы спорили, он со мной не соглашался.

Судя по статье Романовского, здесь был второй или третий приступ групповщины, попытка рапповцев вернуться к руковод-

ству в Союзе писателей, и они направили свои нападки на Юдина, но не прямо, а через Горького.

В результате плохих отношений Горького с Юдиным Юдин должен был уйти из Оргкомитета, и на съезде писателей был введен туда Щербаков (кстати сказать, его выдвинул Жданов), и Щербаков стал секретарем Союза писателей.

Вот как складывались отношения в Оргкомитете перед съездом.

Вероятно, сыграло роль и еще одно обстоятельство, которое ухудшило отношения между Горьким и Юдиным.

Горький питал некоторую слабость к некоторым деятелям оппозиционных группировок — к Каменеву, Бухарину и Радеку. Начиная с 1928 и кончая 1933 годом, у меня было множество разговоров с Алексеем Максимовичем об этих лидерах оппозиционных группировок. Горький недооценивал существа разногласий, которые были в партии, опасность этих разногласий, он все время стремился примирить враждующие группировки, примирить непримиримое. Это проскользнуло и в печати — в его выступлениях после возвращения в Советский Союз, а еще больше проявлялось в разговорах.

В Морозовке был дом отдыха руководящих работников партии и правительства (Морозовка в 41 километре от Москвы по Можайскому шоссе). Мы имели право туда приезжать, жить там день-два, отдыхать. Там бывал и Сталин, и Енукидзе, приезжали Орджоникидзе, Постышев, Скворцов-Степанов. Алексей Максимович там бывал. За стол садилось человек 30–40.

Туда ездил Рыков, к которому Горький относился положительно, Каменев, которого Горький любил, туда ездили Бухарин, Радек и многие другие.

Затем у Горького на квартире в 30-х годах, когда зайдешь, встречаешь Бухарина или Радека, который тогда работал в «Известиях», и я знал, когда он бывал у Горького.

Каменева Алексей Максимович провел на пост директора издательства «Академия», он бывал у него часто.

И когда шла подготовка к Первому съезду писателей, то в качестве докладчиков Горький выдвинул Бухарина и Радека.

Я лежал больной, но получил напечатанные брошюрами доклады их. Я позвонил Сталину: «Как могло случиться, что такие доклады подготовлены к съезду?»

Сталин ответил, что они утверждены ЦК. Я говорю: «Как же ЦК мог их утвердить?» Сталин раздраженно сказал: «Горький изнасиловал, настаивал на этом». Я просил разрешения выступить на Съезде писателей. Он говорит: «Не следует этого делать — это будет расценено как выступление против ЦК, инспирированное Горьким».

Это назначение Бухарина и Радека докладчиками, видимо, встречало противодействие Юдина, а Горький настаивал. По-видимому, на этой почве и возникали разногласия между Юдиным и Горьким, по-видимому, это послужило причиной обострения отношений между ними.

Вот коротко то, что можно добавить к тем материалам, которые напечатаны, которые вы знаете, о подготовке Первого съезда писателей.

— У вас, вероятно, есть какие-либо вопросы?

ВОПРОС. — Доклады, которые были подготовлены Радеком, Бухариным, Горьким для съезда, они кем-то просматривались, одобрялись?

— Насколько я знаю (я беседовал об этом со Стецким и Постышевым), никто Горькому не подсказывал содержание доклада, но, вероятно, он дал читать доклад Сталину и Молотову. Но Горький это есть Горький, и ему, вероятно, на этот счет не было сделано никаких указаний. Этот доклад был подготовлен Горьким без какой-либо директивы, без какого-либо нажима, без какой-либо помощи с чьей-либо стороны. А доклады Бухарина и Радека были организованы Горьким, написаны этими авторами, Горьким представлены в ЦК.

Поскольку возражения, которые были со стороны Юдина, не были приняты Горьким во внимание, постольку ЦК (я сужу по разговору со Сталиным) не счел нужным против этих докладов возражать, хотя Сталину, конечно, было ясно, что доклады эти порочны в своей основе.

Я могу анекдотическую вещь рассказать на этот счет.

После получения доклада Бухарина я встречаюсь с ним на лестнице в здании «Известий». Я говорю: «Как ты мог написать подобный доклад?» Он говорит: «А что?» Я говорю: «Тебя обвиняют, что ты являешься идеологом реставрации капитализма, а здесь ты, литератор, ориентируешь писателей на декадентов! Тебе придется отказать от доклада!»

Он очень нервно реагировал, почти ничего мне не возражал, видимо, были еще чьи-то замечания о его докладе. Он махнул рукой, побледнел и по сути дела вскоре от доклада отказался.

Другой разговор был у меня с Демьяном Бедным. Мы гуляли в Сокольниках. Он говорит: «Ты читал выступление Бухарина против меня? Читал мое выступление?» Я говорю: «Ты напрасно так выступил. Я сказал бы очень просто: “Николай Иванович Бухарин хоронил меня по первому разряду[”]. А потом подумал: Николай Иванович имеет одну особенность: он пишет разные вещи, а потом от них отказывается (*перечисляет работы, написанные Бухариным*). Надо было сказать: теперь он написал доклад о литературе и тоже от него откажется. Поэтому я не останавливаюсь на докладе Бухарина, а перехожу к другим вопросам».

Мы погуляли с Д[емьяном] Бедным, поговорили, а через некоторое время Бухарин действительно отказался от своего доклада.

Какие еще вопросы?

ВОПРОС. — Я помню выступление Зелинского. Он, вероятно, спутал: это было выступление для художников. Он, видимо, объединил все совещания и, видимо, содержание совещаний излагал довольно вольно.

Когда мы сейчас просили т[оварища] Зелинского выступить, он все откладывает.

И.М. ГРОНСКИЙ. — В архиве есть его выступление. Я говорю, что он нарушает историческую правду. Совещания проходили так: вот стол — Сталин, Ворошилов, Молотов, я. Между нами писатели, очень много рапповцев, всего человек сорок, не больше, так как все умещались за столом.

Я почти всех помню, кто там был. Когда кончилась эта перепалка, словесная драка, накрыли стол и сидели так: Сталин, Молотов, Ворошилов посередине стола, справа сидел я, слева сидел Луппол. Пили. Мы с Алексеем Максимовичем пили виски. Сталин мне налил целый стакан коньяка, а до этого он меня и Стецкого пробирал за выпивку. Выпили, потом были разговоры, и когда шли пешком от Горького, он говорит: «Не верю, что ты пьешь. Ты больше всех пил и остался трезвым». А я говорю: «Надо перестать верить Мехлису».

Во время неофициальной части Павленко, который сидел в углу, полез к Сталину целоваться. Это был за все совещания один-единственный такой случай — Павленко говорит: «Разрешите Вас поцеловать». Сталин удивленно посмотрел, подставил ему щеку, и он приложился.

Павленко никогда близким к Сталину не был, он только что входил в литературу, его выдвинул Пильняк. Сталин относился к Павленко как к середнячку. Высоко ставил Сталин Алексея Толстого, Новикова-Прибоя, почему-то он питал симпатию к Пильняку, хорошо относился к Леонову. Федина он ставил очень высоко, но боюсь, что тут сказывалось влияние Стецкого — он много говорил Сталину о Федине. К Фадееву Сталин относился неплохо, но были колебания: то хорошо относился, то предупреждал, что Фадеев может поколебаться, что устойчивой линии у него нет.

ВОПРОС. — Был ли Шолохов на этих совещаниях?

И. М. ГРОНСКИЙ. — Шолохов был на двух совещаниях, держался он очень скромно, не выступал.

Сталин неплохо относился к Панферову, к Гладкову, но не считал Гладкова крупным писателем. Это, очевидно, под влиянием Горького. Горький к Гладкову относился неважно, у него даже как-то сорвалась такая фраза: «Какой же он писатель!»

На совещаниях у Горького на Никитской никто никогда из членов семьи Горького не присутствовал: ни Екатерина Павловна, ни Надежда Алексеевна, ни Максим, ни Крючков.

Надежда Алексеевна говорит, что на совещаниях в Горках был Каганович. Сколько раз я ни был в Горках, я там Кагановича не видел, приезжали обычно Сталин, Молотов и Ворошилов, а Каганович был только два раза в мае 1932 года.

В Горках та же картина: никто из членов семьи не присутствовал. Бывали, кроме Сталина, Молотова, Ворошилова, Стецкий, я. Один раз я видел там художника Яковлева, членов семьи не было. Когда бывал Ягода, то бывали и члены семьи: Екатерина Павловна, Надежда Алексеевна, Максим.

В Горках разговоров было довольно много.

Из литературных разговоров я мог бы привести, например, такой разговор.

Как-то мы приехали с женой к Алексею Максимовичу. Был там Халатов, Алексей Толстой и кто-то еще. Обедали. После обеда все пошли играть на бильярде, а мы с Горьким остались за столом. Горький говорит: «Я забыл сказать — я договорился со Сталиным о возвращении в Советской Союз Бунина. Как Вы к этому относитесь?» Я говорю: «Я — против и сделаю все, чтобы Бунина в Советском Союзе не было». Мы очень крепко поругались. Я забыл об этом рассказать Сталину.

Как-то Алексей Максимович позвонил: «Что Вы не показываете носу, приезжайте».

Я приехал один. Только что вошел, приезжают Сталин, Молотов и Ворошилов. Когда обед подходил к концу, Горький обращается к Сталину: «Мы опять поругались с Иваном Михайловичем из-за Бунина». Сталин зло на меня посмотрел: что ты, мол, и тут лезешь в драку, драться незачем.

Я думаю, что надо отстаивать свою точку зрения.

Вдруг Горький говорит: «Поругались, и я подумал, что Иван Михайлович прав: Бунина возвращать не надо».

Сталин меняется в лице. Он хохочет, но сдерживается. Выходит из-за стола, мы пошли на веранду. Я говорю: «Как Вы можете соглашаться на приезд Бунина? Если Бунин приедет, будет второй литературный центр. Куда писатели потянутся — к Горькому или к Бунину — это еще вопрос». Сталин говорит: «Горький пристал, я ему уступил. Очень хорошо, что это все расстроилось».

Подобного рода разговоров было довольно много: о Новикове-Прибое, о Гладкове, о Толстом, о Панферове, о художниках, об общей политике, о продаже картин, о палешанах, о литературных кружках — о чем только ни говорилось!

ВОПРОС. — Сталин не сомневался, что он может судить в вопросах искусства и литературы?

И. М. ГРОНСКИЙ. — Сталин был человеком довольно большой культуры. Он был немногословен, но он умел слушать.

Я в 30-х годах влез в дискуссию по вопросам изобразительного искусства. И как-то мы сидели и пили чай и заговорили об изобразительном искусстве, в частности, о передвижниках. Сталин меня расспрашивал, задавал вопросы: стоит ли их поддерживать? Я отвечал, он соглашался. При этом он спрашивал, что по такому-то вопросу надо читать, какая литература есть. Через некоторое время он высказывал свое мнение о той или другой книге. Я посоветовал ему прочесть Бенуа «Русская живопись XIX столетия». Он прочитал и довольно подробно высказал свое мнение об этой книге.

Вот деталь: меня на дискуссии спросили, что такое социалистический реализм в живописи. Я бросил такое выражение: это — Рембрандт, Рубенс и Репин на службе рабочего класса. Меня спросили, почему я выбрал именно этих художников. Я ответил: Рембрандт — это известный реалист, Рубенс — это величайший оптимист, а Репин — это вершина не только русской, но и всей мировой живописи XIX столетия. Известны высказывания Маркса о Рембрандте, известны высказывания Ленина о Рубенсе и Репине.

Сталин читал переписку Стасова с Репиным, а открытку с изображением «Запорожцев» Репина он носил в кармане.

Сталин читал не так много, как он говорил, но читал порядочно. Одну и ту же книгу я встречал у него на столике около двух недель. Иногда эти книги менялись: что неделя — то другая книга.

Но вообще знания у Сталина были довольно солидные. Он над собой довольно много поработал, умел слушать, умел расспрашивать. Сидишь с ним, и он буквально из тебя выжимает: что ты можешь сказать? Когда он был не согласен, он нервничал, резко возражал, но не любил, когда человек отказывался от своей точки зрения и соглашался с ним.

У меня бывали со Сталиным споры. Он иногда очень резко возражает, но споришь. Проходит некоторое время, он твою мысль изучает, иногда прямо со ссылкой: вот предлагали такое-то, я возражал, но не был прав тогда.

Есть ли еще вопросы?

Если вопросов нет, мы сегодня нашу беседу на этом закончим.